

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



**БОРОДИНСКОЕ
ПОЛЕ**



**Сборник
А. В. Гулин
Бородинское поле. 1812 год
в русской поэзии (сборник)
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7004062
Бородинское поле : 1812 год в русской поэзии: Детская литература; Москва; 2012
ISBN 978-5-08-004860-9*

Аннотация

Этот сборник – наиболее полная поэтическая летопись Отечественной войны 1812 года, написанная разными поэтами на протяжении XIX века. Среди них Г. Державин и Н. Карамзин, В. Капнист и А. Востоков, А. Пушкин и В. Жуковский, Ф. Глинка и Д. Давыдов, А. Майков и Ф. Тютчев и др.

В книгу включены также исторические и солдатские песни, посвященные событиям той войны.

Издание приурочено к 200-летию победы нашего народа в Отечественной войне 1812 года.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

Поэзия восторга и любви	5
Гавриил Романович Державин	22
Гимн лироэпический на прогнание французов из Отечества	22
Ода на смерть фельдмаршала князя Смоленского	29
Князь Кутузов-Смоленской	30
Василий Васильевич Капнист	31
Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28-го дня	31
Иван Михайлович Долгорукий	40
Плач над Москвою	40
Николай Михайлович Карамзин	44
Освобождение Европы и слава Александра I	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46



Бородинское поле. 1812 год в русской поэзии

© Гулин А. В., составление, вступительная статья, 2012

© Панов В. П., наследники, иллюстрации, 1984

© Оформление серии, комментарии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2012

Поэзия восторга и любви



Не столь уж большая по объему книга, которую сейчас держит в руках читатель, полна громадной светоносной силы. Под ее обложкой – стихи очень разных поэтов: прославленных в веках или оставшихся только в истории литературы, а порой даже и тех, кто сегодня совершенно забыт. У каждого из них своя неповторимая судьба. Они принадлежат разным поколениям и нередко разным направлениям в искусстве. Различна мера их таланта. Их поэтический язык в одних случаях близок нашей современной литературной речи, а в других выглядит устаревшим, тяжеловесным, требует определенных усилий для его понимания. Но есть одно, что объединяет здесь таких непохожих художников. Перед нами поэзия, рожденная войной 1812 года – эпохой скорби, утрат, жертвенных подвигов и великого национального торжества, всенародного ликования. Все, кто жил тогда в России, испытали огромный душевный подъем. Поэзия тоже несла в себе этот возвышенный дух. И долго еще по окончании невиданной освободительной войны память о ней продолжала светить русским поэтам, укреплять их в трудные времена, оживлять в душе родные святыни. Потому что сколько бы лет ни прошло с той поры, победа над Наполеоном в 1812 году предельно ясно открывает живому русскому сердцу правду о человеке, о мире, о Родине.

* * *

Русские современники Отечественной войны 1812 года стали участниками и свидетелями небывалых в новой истории событий. Все говорило об этом: вторжение в Россию колоссальной по численности, какой не видел свет, вражеской армии во главе с гениальным полководцем; кровавые битвы на родной земле – прежде всего, беспрецедентное по своей жестокости и упорству Бородинское сражение, оставление Москвы не только русскими войсками, но и всеми почти мирными жителями; пожар, испепеливший за несколько дней огромный цветущий город... Столь же невиданным, потрясающим воображение, оказался исход войны: страшное отступление, гибель в снегах чуть ли не всех посягнувших на Русь неприятелей, позорное бегство еще недавно всемогущего их предводителя... Всего за шесть месяцев наша страна побывала на краю гибели – и поднялась до вершин своего могущества, одержала грандиозную всемирную победу. В ближайшие за этим полтора года Россия освободила пленную Европу, окончательно – при поддержке освобожденных народов – сокрушила казавшуюся непобедимой наполеоновскую Францию. Наши войска вошли в Париж.

Между тем этот поистине чудесный ход событий стал воочию зримым выражением духовного чуда, которое совершилось в потрясенном русском мире 1812 года. У писателей того времени иногда встречается словесный оборот «воспламенение сынов Отечества». Часто, стремясь передать испытанное всеми духовное состояние, они говорили: «восторг». В нашем современном обиходе это слово почти утратило свой изначальный смысл. Мы не задумываясь называем так любое, часто мелкое, но радостное для нас переживание. А для русских людей начала XIX века восторгаться – значило подниматься над суетой и страстями грешного мира, прикасаться к Вечности, созерцать Бога и его промысел о нас, мыслить и чувствовать в духе Божиим. Конечно, в любой день и час русской истории стремление ввысь

не покидало наших соотечественников. Православная вера веками окрыляла многих из них. Но 1812 год стал эпохой всенародного восторга. Он вырвал человека из пут повседневности, воззвал к небесному в его душе, очистил в нем образ Божий. Самый знаменитый русский поэт XVIII века Гаврила Романович Державин, переживший на склоне лет великую войну с Наполеоном, писал тогда:

Восторг пленит, живит, бодрит
И тлен земной забыть велит.

Юный Пушкин в том же духе говорил о русских воинах, вставших на защиту Родины:

За строем строй течет, все местью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.

И он же, обращаясь много лет спустя к праху Михаила Илларионовича Кутузова, победителя Наполеона в 1812 году, напишет: «В твоём гробу восторг живет!»

А Петр Андреевич Вяземский, вспоминая о своем участии в битве при Бородине, будет рассказывать: «Не только мое частное, неопытное впечатление, но и общее мнение было, что Бородинское сражение нами не проиграно. Все еще были в таком восторженном настроении духа, все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или даже полунудаче не могла никому приходить в голову».

Русский восторг 1812 года, пожалуй, до сегодняшнего дня остается единственным в народной судьбе последних веков по чистоте, силе и христианской определенности душевных устремлений. Писатели и поэты того времени вместе со всем народом испытали самое праведное воодушевление. Они увидели свое Отечество, исторические пути мира и человека так ясно, как никогда прежде. Увидели не по отдельности, а сразу. Увидели в себе и вокруг себя. То, что давалось их потомкам огромными усилиями, что требовало впоследствии глубокого анализа, сосредоточенного «всматривания» в действительность, открылось очевидцам событий Отечественной войны 1812 года в живом непосредственном опыте. И задача литературного творчества состояла для них не столько в том, чтобы выявить те или другие ценности национальной жизни (это сделала сама эпоха войны с Наполеоном), сколько в том, чтобы назвать, провозгласить и утвердить все самое бесспорное в народной судьбе.

Литературная полемика, столь обычное и даже неперемненное явление в русской культуре XIX столетия, на протяжении 1812 года и нескольких лет, наступивших вслед за ним, совершенно исчезла. Национальный мир на короткое мгновение слился «в одну душу», и русская литература испытала такое же единство. Последователи художественных направлений той поры: классицизма, сентиментализма, набирающего силу романтизма, оставили на время былые споры. Замолкли общественные, идейные разногласия. И разве можно было думать об этом в такой момент, на такой вершине! Конечно, приверженность тому или иному литературному направлению, гражданские убеждения и склонности, особенный строй личности в те годы по-прежнему напоминают о себе в творчестве каждого писателя и поэта. Но куда важнее другое: все они стремятся высказать по-своему одну истину, живут общими мыслями и чувствами. Само художественное совершенство оказывается хотя и важнейшим, но далеко не единственным достоинством написанного. Не менее важно то, насколько произведение созвучно народному духу. Этот всеобщий характер, эта сила переживания всегда таковы, что художнику или публицисту непременно требуется говорить как бы со всеми сразу, обращаться ко всей нации. В прозе 1812 года всеми красками расцветает риторическое начало: пишутся воззвания, обращения, послания, манифесты. Звучат необыкновенно яркие

для того времени церковные проповеди. Но и поэты, в каких бы жанрах они ни выступали, тоже, как правило, призывают ко всему русскому миру или даже к целой вселенной.

В этом общенародном прозрении, стремлении слить свое слово с душевным порывом всей нации участвуют Державин и Капнист, Карамзин и Вяземский, Жуковский и Батюшков, Федор Глинка и Милонов, совсем юный Пушкин, еще десятки больших и малых творцов.

Люди 1812 года сильнее, чем это бывает обыкновенно, испытывали чувство, что происходящие события совершаются не только на земле, что здесь через явные признаки человеку дано созерцать волю Всевышнего.

Что се? Стихий ли борьба?
Брань с светом тьмы? добра со злобой? —

риторически, в духе времени, спрашивал Державин. Мысль о дьявольском покушении на самые основы жизни, на самого Творца, о русской победе как новом, невиданном торжестве Божественной правды часто, хотя и не всегда, звучала у поэтов – современников великой борьбы. И кто же еще должен был попытаться высказать ее развернуто и масштабно, если не сам Державин, написавший в XVIII веке классическую духовную оду «Бог», вечно стремившийся проникнуть словом в сокровенные тайны мироздания? Приведенные ранее строки взяты из написанного поэтом в 1812–1813 годах «Гимна лироэпического на прогнание французов из Отечества». Одно из самых выразительных мест державинского «Гимна...» – аллегорическое изображение наполеоновской угрозы, которая нависла над миром.

Открылась тайн священных дверь!
Ишел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змеевидны;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
Рогами солнце прут;
Отенетя вкруг всю ошибами сферу,
Горящу в воздух прыщут серу,
Холмят дыханьем понт,
Льют ночь на горизонт
И движут ось всея вселенны.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.

У многих современных читателей эти стихи могут вызвать недоумение и своим очевидно устаревшим русским языком, и чуть ли не до последней крайности «сгущенными» красками. Но ведь нас при этом несколько не удивляют былинные сказания древности о русских богатырях, которые побеждали Змея Тугарина, Соловья-разбойника и другие порождения ночной тьмы! Конечно, торжественный гимн, созданный по очевидному историческому поводу, – не фольклорное произведение. Однако и здесь и там идет речь о чудовищных силах, которые хотят погубить христианский мир, грозятся уничтожить весь белый свет. Язык державинского «Гимна...» часто архаичен даже по сравнению со знаменитыми, намного раньше написанными одами великого поэта. Но тут говорится о вещах, явно превосходящих человеческое разумение, для них требовались такие же особенные слова и сочетания слов. Картина действительно получилась единственной в своем роде. И перед нами не только традиционная для поэзии классицизма аллегория. Своими выразительными образами Державин хочет открыть нашему взгляду самую подлинную духовную реальность происходящего. Он посто-

янно помнит Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис – евангельскую книгу, с наибольшей полнотой предвещающую неизбежный приход конца света.

Французская революция конца XVIII века принесла с собой огромные потрясения. «Чему, чему свидетели мы были!» – восклицал годы спустя изумленный Пушкин. «Тьма покрыла запад, – говорил московский архиепископ Августин (Виноградский). – Народ, который паче прочих хвалился мудростью, объюродел. Отрекся Творца своего, опроверг Его алтари и возвестил Вселенной нечестие и безбожие».

О том же в духе отеческой проповеди напишет и Державин:

О новый Вавилон, Париж!
О град мятежничьих жилищ,
Где Бога нет, кроме злата,
Соблазнов и разврата;
Где самолюбью на алтарь
Всё, всё приносят в дар!

Революционеры и в самом деле покушались начать новую, безбожную эру в истории человечества. Совсем не случайно они закрыли и осквернили во Франции чуть ли не все католические храмы, заменили традиционное для Европы летоисчисление от Рождества Христова новым революционным календарем, по которому их страна жила десять лет! Это означало, прежде всего, отречение от христианских нравственных законов. Тут же, как будто выпущенные незримой рукой, вышли на волю всевозможные страсти, искушения, соблазны. Свобода греха, равенство вседозволенности, братство в этом общем падении стали боже-ствами новой эпохи. И как воплощение безумных энергий века сего явился миру «маленький корсиканец» Наполеон Бонапарт.

Все было неподлинным, ложным в той реальности, которую несли с собой его полки: самозванный император, самозванцы короли, герцоги, князья, лукавые понятия о чести, величии, славе, о смысле и ценностях человеческой жизни. Империя, возникшая из крови и тьмы Французской революции, представляла собой какую-то огромную, стремившуюся воплотиться в жизнь иллюзию, до времени торжествующий обман, подлог. Для современников было очевидно, что Наполеон покушается на весь духовный строй русского народа, стремится завладеть не только землями, но умами и сердцами. Вражеская сила в 1812 году действительно была страшна и огромна. «Против чрезвычайно го, – писал прозорливый наблюдатель, – надобно найти средства чрезвычайные, крайность крайности противопоставить должно. Стезями неведомыми, средствами неслыханными надо сражаться против того, что невиданно, неслыханно».

Источником сопротивления Наполеону стала сама Русская земля, ее прекрасный и древний уклад: неомраченная вера, строгая православная государственность, утверждение истины, добра в больших и малых делах – жизнеутверждение. «Чрезвычайной» оказалась только сила русского прозрения, очищение в каждом из участников событий вечных ценностей национального мира. И чем страшнее подступала опасность, чем меньше оставалось надежды на спасение, тем глубже было прозрение, тем сокрушительнее становился отпор. Главное сражение войны – Бородинская битва вознесла ход событий на огромную, трудно постижимую высоту.

«Битва», «сражение», «баталия» – ни одно из этих слов не передает истинного смысла того, что происходило у села Бородина 26 августа (по современному стилю – 7 сентября) 1812 года. Да, конечно, было сражение. Но и нечто неизмеримо большее, чем сражение. Русские участники этого события даже годы спустя с трудом находили слова, чтобы передать трудно выразимое, но испытанное всеми чувство прикосновения к чему-то величе-

ственному, имеющему высший смысл. Конечно, было налицо столкновение в открытом бою двух армий: русской и французской. Но прежде всего было противоборство духовных начал, питающих каждую из них. Именно эти вечно враждебные начала, сопричастные одно – свету, другое – тьме, арена битвы для которых и сердце человеческое, и весь мир, сошлись в смертельной схватке на Бородинском поле в ста с небольшим верстах от Москвы. Предельно простой и откровенный смысл происходящего (сгущение тьмы и ответное слияние света) явил себя в таком же простом и откровенном образе действий. «Механизм этой битвы, – говорил ее участник Федор Глинка, – был самый простой. Наполеон нападал, мы отражали. Нападение, отражение; нападение, опять отражение – вот и всё! Со стороны французов – порыв и сила; со стороны русских – стойкость и мужество». И каждый из участников противостояния вложил в эту словно самую последнюю схватку все упорство, на какое он только был способен.

Главное оружие писателя не ружье, не сабля, не пушка. Оружие писателя – слово. Оно бывает иногда страшнее врагу, чем любые изобретенные человеком орудия смерти. Но в 1812 году (это повторится и в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов) стремление писателей вместе со своим народом участвовать в общей борьбе, жертвовать собой за Отечество на поле боя было исключительно велико. В творчестве Константина Николаевича Батюшкова даже прозвучала тогда тревожная мысль о том, что поэт не вправе братья за перо при виде моря зла, которое разливается по родной земле, что поэзия и жуткая действительность непримиримы: нельзя вернуться к поэзии, пока с оружием в руках не отомстишь «на поле чести» разорителям, осквернителям своей земли. Впрочем, эта мысль тоже высказывалась поэтически, в полном горечи и праведного гнева против захватчиков стихотворном послании «К Дашкову». Просто то была совсем другая поэзия: обожженная московским пожаром и страшной истребительной войной.

Сам Батюшков, который участвовал в кампаниях против Наполеона и прежде, теперь снова пошел на военную службу. Некоторые из русских поэтов того времени: Федор Глинка, Денис Давыдов, Сергей Марин – были профессиональными военными, их патриотический порыв оказался неотделим от воинского долга. Но в составе русской армии находились и такие в прошлом сугубо мирные люди, как Петр Андреевич Вяземский и Василий Андреевич Жуковский. Судьба привела их – каждого своей дорогой – в день сражения на Бородинское поле. Жуковскому предстояло написать и самое знаменитое произведение в литературе той эпохи.

Сознание страшной опасности, которая нависла над страной, побудило поэта, к тому времени широко известного романтическими элегиями и балладами, в невысоком чине поручика поступить летом 1812 года в Московское ополчение. 26 августа вместе с ополчением Жуковский оказался при Бородине. Как ни велико было стремление ратников-добровольцев участвовать в бою, русский главнокомандующий Кутузов понимал, что им трудно будет сражаться на равных с хорошо обученным неприятелем. Ополчение берегли до последней крайности, и только небольшая его часть была введена в сражение. Жуковский и его сослуживцы весь день стояли в резерве. Но, конечно, поэт еще накануне не мог знать, как сложится с рассветом его судьба. Наверняка вместе со всеми он готовился к смерти. И потом, когда битва началась, очевидно, все-таки не переставал ждать своего часа. До того места, где находились ополченцы, тоже долетали французские ядра, а впереди, совсем рядом, кипело страшное побоище. Жертвенный подвиг, восторг и ужас Бородинского дня – все это стало для Жуковского непосредственным сердечным переживанием.

После великой битвы поэт видел оставление русскими Москвы. Вместе с отступающей армией Кутузова он очутился в укрепленном лагере у села Тарутина в Калужской губернии, где наши войска набирались сил для новых боев с Наполеоном.

Это были самые скорбные недели войны, когда никто не мог знать, что случится дальше. Наполеон находился в сердце России, в городе русских царей, любимом городе Жуковского. Казалось, невиданной силы пожар, бесчинства завоевателей навсегда уничтожили Москву. И в это время неведения, мучительного ожидания будущих событий Жуковский совершил свое главное в 1812 году патриотическое дело. В Тарутинском лагере он написал большое стихотворение «Певец во стане русских воинов». Позднее поэт не раз его дорабатывал, но все самое значительное появилось тогда, в Тарутине, раз и навсегда.

Еще до того, как стихи Жуковского были напечатаны, они разошлось во множестве списков в армии и по стране, их помнили наизусть. Русским читателям, военным и гражданским, был так необходим этот молодой звучный ободряющий голос, раздавшийся в невыносимо тягостную пору! Основной всплеск поэтического творчества эпохи еще не наступил: он пришелся на самый конец войны и победные 1813–1814 годы. Но Жуковский, опережая многих своих современников, с необычайным талантом сумел высказать то, чем дышали в наступивший грозный час и русский мир, и русская литература.

В основе стихотворения – вполне условная картина: певец посреди воинов с кубком вина, раз за разом прославляющий в ночь перед боем народные жизненные ценности; воины, снова и снова, прежде чем осушить свои кубки, повторяющие вслед за ним последние строки огненных речей. Конечно, художественные вкусы начала XIX века были не похожи на те, что сложились десятилетия спустя. Скажем, среди современников 1812 года имели большую популярность живописные и скульптурные аллегорические изображения представленных античными воинами французов-галлов и русских. Однако условность «Певца во стане русских воинов» – это не только следование эстетике своего времени.

Жуковский нашел удивительную форму для поэтического выражения народного единства. Стихотворение начинается воспоминанием о битве уже отгремевшей и заканчивается прощанием перед наступающим новым сражением. В нем словно звучит память о Бородине в ожидании еще неведомого смертного боя. Но все же перед нами не только известные боевые схватки, а вся война с Наполеоном, весь ее жар, весь порыв. Глас народа – певец обращается к товарищам по оружию. Но его воззвание больше – это призыв ко всей Русской земле, призыв национальный. И точно так же весь народ, вливая новые силы в душу певца, головами воинов откликается на прозвучавшие слова. Восторг поэта и народный восторг почти зримо соединяются. А еще картина невольно пробуждает в памяти древнего певца Бояна, воодушевлявшего русских бойцов на подвиги. Настоящее и прошлое, потомки и предки здесь тоже едины.

Поэты 1812 года в своем творчестве, как правило, не касались по отдельности разных сторон бытия. Во всем, что они пишут в то время, происходит не рассеяние лучей, но их слияние; свет падает прямо и ровно, единым снопом, открывая взгляду только наиболее существенное. В самых значительных стихотворениях эпохи Державин, Карамзин, Батюшков, Пушкин да и многие другие авторы каждый раз собирают вместе весь круг национальных и мировых вопросов, говорят по-своему, но всегда об одном.

«Певца во стане русских воинов» отличает и в этом смысле удивительная стройность. Сначала у Жуковского заходит речь о русской истории («Сей кубок чадам древних лет!»), воспеваются славные полководцы прошлого: князья Святослав, Дмитрий Донской, царь Петр I, Суворов. Память о великих предках действительно оказалась в 1812 году самой живой, необходимой, действенной. Затем прославляются родная земля («Отчизне кубок сей, друзья!»), русская держава («Тебе сей кубок, русский царь!») и русская армия («Сей кубок ратным и вождям!»).

Но, последовательно прославляя основы национального мира, Жуковский всегда остается самым вдохновенным творцом. Его стихи – легкие, звучные, крылатые. Такой свободной, искренней поэзии, в том числе поэзии о войне, Россия до той поры не знала. В ней

постоянно живет лирическое начало. Даже и гражданские ценности Жуковский прославляет, на удивление, тепло, сердечно. И конечно, он не был бы самим собой, если бы не воспел сокровища частной жизни человека – это дружба («Святому братству сей фиал») и любовь к единственной избраннице («Любви сей кубок полный в дар!»).

Русская литература только что ушедшего XVIII века часто утверждала мысль о высоком предназначении художника. Сердечное озарение 1812 года заставило поэтов переживать ее как непреложную истину. Жуковский с неслыханной до того смелостью среди других великих достояний своего народа славил поэтическое творчество («Сей кубок чистым музам в дар!»).

И наконец, названа величайшая ценность в жизни России, которая рождает, соединяет и покрывает собой все, о чем говорилось до этого, – русская вера и ее святыни. Во славу Божию единственный раз поднимается у Жуковского, и поднимается с коленопреклонением, не кубок, не фиал, а чаша. Перед нами – итог и вершина произведения.

Подыдем чашу!.. Богу сил!
О братья, на колена!
Он искони благословил
Славянские знамена.
Бессильным щит Его закон
И гибнущим спаситель;
Всегда союзник правых Он
И гордых истребитель.
О братья, взоры к Небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль Отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!

Нет ничего удивительного в том, что поэтическое воззвание Жуковского укрепляло и вдохновляло современников Отечественной войны. Его живительная энергия передается и нам два столетия спустя. «Певец во стане русских воинов» – это меньше всего военный клич, призывающий истреблять врагов, хотя и такие призывы были бы тогда вполне объяснимы. Но здесь так просто и естественно соединились твердая решимость, боевой дух и мягкость, душевная отзывчивость! Эти стихи излучают великую любовь. Да и невозможно представить себе подлинный восторг, не одушевленный заповедями Христа о любви к Богу и к ближнему. Вот эта небесная, эта братская любовь, ясно осветившая русский мир, и оказалась тем «невиданным, неслыханным», что остановило в 1812 году бешеный натиск вражеских полчищ, уничтожило потерявшую память о Боге армию «двунадесяти языков».

Стихи Жуковского призывали соотечественников во всем, что бы ни происходило с ними, хранить «доверенность к Творцу». Для большинства русских эти слова звучали в то время как никогда внятно. Десятки тысяч наших воинов пали при Бородине в неколебимом стоянии за Истину, за Русь, за свою древнюю столицу. Но хотя колдовская сила наполеоновских полчищ была надломлена, человеческие возможности к их отторжению казались порой уже исчерпанными.

«Неизменна воля Свыше Управляющего царствами и народами, – говорил Федор Глинка, видевший последние часы старой Москвы. – В пламенном, сердечном уповании на Сего Правителя судеб россияне с мужественной твердостью уступили первейший из градов своих, желая сею частною жертвою искупить целое Отечество». Сорокадневный московский плен – пора невиданной духовной брани, в которой уже не сила укрепленного Истиной оружия, но сама Истина окончательно сокрушила неправых.

Москва не была сдана. Наполеон не дождался ее ключей. «Москва оставлена», – говорили современники. То есть оставлена, вверена не владыкам земным, а Самому Творцу. Захватчики, упоенные мечтами о всемирной власти, с первого взгляда на открывшийся им великолепный город испытали (как видно из десятков позднейших воспоминаний) ни на что не похожее чувство. Все, чего могла желать человеческая гордость, казалось, нашло тут свое осуществление. «Гордые тем, что мы возвысили наш благородный век над всеми другими веками, – описывал это мгновение граф Филипп де Сегюр, – мы видели, что он уже стал велик нашим величием, что он блещет нашей славой».

Когда читаешь эти строки, легко поверить, что в Москве находилась и конечная цель, и тайный смысл всех революционных, всех наполеоновских завоеваний. А между тем Высшая Правда уже сбывалась над этим таким горделивым, таким самоуверенным триумфом. Военная добыча, приз, короткая утеха суетному честолюбию, Москва обретала в ее земном поприще свои нетленные, от века непопираемые черты. Преданная поруганию, расцвела иной, небесной жизнью, ни в чем не подвластной ее захватчикам. Что бы ни вызвало великий московский пожар (неосторожность наполеоновских солдат, разводивших бивачные костры вблизи деревянных строений, действия безвестных русских поджигателей, другие, вполне вероятные в тех условиях необычные обстоятельства), его последствия явили миру до сих пор невиданное торжество вечных нравственных законов. Русские смиренно оставили Москву – и победили. Французы гордо вступили в Москву – и были повержены.

Судьба древней столицы – едва ли не самая звучная и постоянная тема в отечественной поэзии 1812 года. Национальный восторг прозревал во всем случившемся с Москвой не случайность, но исполнение мировых судеб. Тут находилась вершина событий, откуда каждому взгляду открывались их суть и смысл. Однако прежде всего нельзя было не испытать колоссальной боли, сердечного сокрушения при виде того, что осталось от Москвы после пребывания в ней Наполеона. Едва ли не пронзительнее всех эту общую скорбь излил Батюшков:

Лишь угли, прах и ка́мней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..

«Москва! сколь русскому твой зрак унылый страшен!» – оплакивал Пушкин народную святыню и город своего детства.

Но в то же время проясненное духовное зрение нередко в ту пору обращало внимание современников на самих себя, заставляло увидеть в бедствиях Москвы праведное воздаяние за чужие и собственные грехи минувших лет. «Гнев Божий над тобой, злосчастная Москва!» – восклицал среди многих других князь И. М. Долгорукий.

Мысль о войне как наказании Господнем – одна из главных в русской патриотической публицистике 1812 года. Временами она звучит со всей определенностью и в поэзии той эпохи. Так это происходит в большом стихотворении Василия Васильевича Капниста «Видение плачущего над Москвою россиянина». Прославленный еще в минувшем столетии обличитель общественных пороков и на этот раз говорил о том же самом, но теперь с высоты, казалось, навсегда полученного страной горького опыта. Герою стихотворения являются тени спасителей Отечества в Смутное время XVII века – святого патриарха Гермогена и князя Пожарского. Среди многих истин, которые они изрекают, особенно внушительно звучат отеческие укоризны:

Но обратим наш взор. – Тут пал чертог суда:
Оплачь его, – но в нем весы держала мзда...

.....
Над падшими ли здесь чертогами скорбишь?
Иль гнезд тлетворных в них роскоши не зришь?

Московский пожар 1812 года часто представлялся русским людям того времени грозной карой – и спасением, милостью Божией. В нем видели очищение от грехов, от всего, что родственно наполеоновским соблазнам. Потрясенному взору здесь открывалось подлинное таинство, попадающее все нечистое, случайное, временное.

«Горели палаты, – говорил один из лучших писателей того времени Сергей Глинка, – где прежде кипели радости земные, стойвшие и многих и горьких слез хижинам. Клубились реки огненные по тем улицам, где рыскало тщеславие человеческое на быстрых колесницах, также увлекавших с собою и за собою быт человечества. Горели наши неправды; наши моды, наши пышности, наши происки и подыски; все это горело...» – «...Зачем это приходили к нам французы?» – задавал себе позднее вопрос епископ Феофан Затворник. И отвечал на него: «Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. <...> Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему».

И столь же неумолимо – спасение для одних – московский пожар стал посрамлением, гибелью других. За всю кампанию в России Наполеон ни разу не был разбит, обращен вспять только силой оружия. Но за недели пребывания в Москве французская армия уничтожилась в себе самой. Все, что исторгнула из себя Москва в это возвышенное время, жадно поглощалось, расхищалось в разбоях и грабежах осатаневшей толпой незваных пришельцев. Единственно доступные их пониманию случайные, временные ценности страшным грузом отягощали неприятелей, тянули на дно, ускоряли собой и без того стремительное падение. Они сами не видели той пропасти, в которую летели, и, потеряв последний разум, ругались над московскими святынями. Изуверному глумлению, разорению подверглись храмы и монастыри. Но чем больше покушались враги на источник света, тем ярче сиял он в каждой живой русской душе, во всем русском мире. Пробил час – и поверженные, бесславные французы покинули неподвластную им Москву, ушли навстречу своему концу.

Русских и завоевателей разделила на московском пепелище воочию зримая, в полном смысле огненная черта. Находясь на вершине горьких и торжественных дней Отечественной войны, просто нельзя было не видеть, что есть Наполеон с его разноплеменным войском и что есть Россия. И сам «начальник французской нации» окончательно предстал теперь слепым орудием всемирного разрушения.

Известный писатель адмирал А. С. Шишков говорил по горячим следам событий: «Поругание святыни есть самый верх безумия и развращения человеческого». И, продолжая свою мысль, вспоминал последний отданный в Москве приказ Наполеона взорвать при отступлении Кремль и кремлевские соборы: «Кто после сего усумнится, чтоб он, если бы то в возможности его состояло, не подорвал всю Россию и, может быть, всю землю, не исключая и самой Франции?»

Поэты 1812 года не скупались на обличительные, гневные слова, говоря о Наполеоне. Стало обыкновенным сравнивать его с наиболее ужасными, хищными завоевателями древности. Впрочем, ни одно из таких уподоблений не могло, с точки зрения людей того времени, исчерпать всю меру угрозы, которую нес в себе «маленький корсиканец». В этом прямо признавался знаменитый историк, писатель и поэт русского сентиментализма Николай Михайлович Карамзин:

Ничто Аттилы, Чингисханы,
Ничто Батыи, Тамерланы
Пред ним в свирепости своей.

И такой противник был побежден в Москве, в России! Побежден жертвенным подвигом и «доверенностью к Творцу». «Искупительница» – это высокое имя не сходило с уст говоривших тогда о первопрестольной столице Русской земли. «Москва пылает за Отчизну», – провозглашал один из многих, ныне забытый поэт Тимофеев. Но современникам казалось, что жертва Москвы больше, что ею искуплены и омыты не только русские грехи, но и беззакония всей Европы. Эта восторженная мысль звучит, например, у известного поэта Николая Михайловича Шатрова:

Тебе венец и почитанья,
Царица русских городов.
Твой плен, твой пепел и страданья
Есть тайна Божеских судов;
Не человеческой злой воле
На бранном, кроволитном поле
Была должна ты уступить;
Но Бог, казня Наполеона,
Хотел Европу от дракона
Твоим пожаром искупить.

А Петр Андреевич Вяземский по-своему подводил итог общим убеждениям:

Красуйся славою в веках,
Москва! Спасительница мира!

Россия, русская вера, русская культура, русский жизненный строй вдруг открылись в ту эпоху нашим образованным соотечественникам как самый несомненный оплот праведных, священных начал бытия. Свидетельством тому была сама их победа!

На протяжении долгих десятилетий русские дворяне увлекались философией западного просвещения. Вдохновители новой революционной эпохи – Вольтер, Дидро, Руссо стали кумирами многих из них. Война 1812 года с предельной ясностью показала, к чему приводят путем неизбежных превращений такие привлекательные на первый взгляд просветительские идеалы. И оказалось вдруг, что родные ценности, знакомые с детства, но часто забытые, – это и есть истинное Просвещение, без которого не устоят ни Россия, ни целый мир.

Просвещение на западный манер часто виделось во второй половине XVIII века неким достоянием высших сословий, из которых оно «разливается» по мере своего успеха во все остальные слои общества. Люди 1812 года встретились на поле боя с подобным «разливом» подобного просвещения, увидели в нем агрессивный, разрушительный обман – и отвергли его. Отвергли все вместе, без различия сословий. Потому что единственно живое, спасительное Просвещение в равной мере воодушевило каждого из них. Они испытали необыкновенное чувство духовного родства, принадлежности одному великому народу. Совсем не удивительно, что с первых дней войны русский дворянин Федор Николаевич Глинка стал писать стилизованные солдатские песни, призывающие соотечественников бесстрашно идти в бой. И уж совершенно необходимыми в литературе эпохи оказались вдохновленные военными событиями басни Ивана Андреевича Крылова, особенно известная каждому в России «Волк на псарне». Всегда укорененные в народной речевой стихии, они заключали в себе простодушную – и самую точную национальную меру недавно произошедших событий, неувядающий здравый смысл, на века произнесенное поучение.

Испытанное русскими в 1812 году чувство народного единства было неотделимо от сознания вселенского масштаба своей победы. Торжество над Наполеоном представлялось исполнением мировых судеб, где Россия выступала носительницей света, через нее данного всем народам земли. И это великое предназначение требовало быть во всем его достойными. 21 декабря (2 января 1813 года) после изгнания из Отечества последних наполеоновских солдат главнокомандующий Кутузов писал в приказе по армии: «Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница Вышнего праведно отметила их нечестие. Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетения даже те народы, которые вооружались противу России».

Конечно, еще совсем недавно суровая действительность Отечественной войны далеко не всегда располагала к милосердию. Не случайно в более поздние годы у Пушкина появится в связи с 1812 годом ставшая классической формула: «остервенение народа». Стихийно возникавшие партизанские отряды нередко истребляли захватчиков, в том числе и пленных, без всякой жалости. И тем не менее такие расправы мало у кого могли вызывать одобрение. Народное достоинство требовало, давая волю праведному гневу в бою, щадить побежденных. Мысль о христианских добродетелях, о духовной чистоте как подлинных причинах спасения Отечества не покидала поэтов того времени. Однако вот пример ни с чем не сравнимый, вечно памятный в истории нашей словесности.

В январе 1815 года едва вышедший из детских лет лицеист Пушкин на переходном экзамене в присутствии Державина читает свою оду «Воспоминания в Царском Селе». Ода Пушкина – сыновняя дань уходящему классицизму, его завершение, его не имеющий себе равных образец. Ода Пушкина – поэтическое слово новой поры, заключенное в строгую отеческую форму, сплавленное с языком литературной старины. Ода Пушкина – исчерпывающий, самый полный итог восторженной эпохи 1812 года в нашей литературе. Представление русских о народном достоинстве тоже получает здесь совершенное свое выражение.

В Париже росс! – где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он – несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

Любые размышления о том, каким сложился бы художественный мир Пушкина, если бы не произошла Отечественная война с Наполеоном, бессмысленны. Пушкин и 1812 год навсегда сопряжены в нашей исторической судьбе. И не случайно осветившая творчество поэта драгоценная мысль о «милости к падшим» впервые была высказана в стихах, посвященных всемирной победе русского народа.

* * *

Как бывает в минуты великих духовных потрясений, людям 1812 года часто казалось, что испытанный ими восторг продлится вечно, что так и должно быть, что они сами и мир вокруг изменились навсегда. Но грешный человек в земной истории не может постоянно пребывать на вершине. Никто из людей, прошедших огромную очистительную войну, не испытывал больше в своей жизни такого ослепительного взлета.

Очень скоро для поэтов – участников войны наступило время воспоминаний о 1812 годе: сначала обжигающе близких, позднее почти легендарных. Жуковский, Вяземский, Федор Глинка до конца своих дней переживали то незабвенное время. Они славили народную победу, русского царя, русских воинов и вождей, они одушевлялись былыми чувствами – и тосковали. Эти сложные настроения слышатся отчасти и в позднем пушкинском стихотворении «Была пора: наш праздник молодой...». Многие послевоенные стихи, написанные ветеранами отгремевших сражений, просто современниками эпохи, окрашены то очевидной, то едва уловимой печалью. Конечно, это печаль о собственной молодости, о павших героях, о неизбежном уходе с годами своих соратников и славных предводителей. Но над всеми другими чувствами здесь царствует высокая печаль о чем-то огромном, выпавшем на веку лишь однажды, невозвратимом во всей его силе и чистоте...

Одним из живых символов ушедшего 1812 года для современников был поэт и партизан Денис Васильевич Давыдов. Лучшие русские литераторы первой половины XIX века: Пушкин, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Федор Глинка, Языков – гордились своей дружбой с ним, обращали к Давыдову стихотворные послания или даже специально писали о нем.

Отечественная война действительно оказалась звездным часом этого человека. Он связан с ней всей кровью, всей судьбой: село Бородино было его именем, где, случалось, подросток Давыдов проводил летнее время. Но участником Бородинской битвы ему стать не пришлось. Своевольный, даровитый, склонный к импровизации, он не мог найти себя вполне в стройных боевых рядах и незадолго до великого сражения по собственной просьбе был отправлен в тыл неприятеля, чтобы вести партизанскую войну. Собственно, Давыдову и принадлежала первому мысль о возможности так воевать с Наполеоном. Обросший бородой, в крестьянском полушубке и казацкой шапке, с образом Николая Чудотворца на груди, этот невысокого роста гусарский подполковник во главе своего отряда стал грозой постепенно слабеющих французов. Его узнали Россия и Европа. Знаменитый «отец исторического романа» шотландец Вальтер Скотт интересовался его личностью и некоторое время находился с ним в переписке.

Война и поэзия тесно соединились в жизни Давыдова. Лирический герой многих его стихотворений – простодушный гусар, забияка, воин, патриот – появился в давыдовском творчестве за несколько лет до Отечественной войны. Скоро он стал восприниматься как нечто неотделимое от своего создателя. Но когда пришла война, в отличие от многих Давыдов-поэт замолчал. Его место занял Давыдов-боец. Даже его прекрасный прозаический «Дневник партизанских действий 1812 года», хотя и назван дневником, создавался позднее. Воодушевление славной эпохи в этом случае прямо проявилось в бою. И после победы над Наполеоном Давыдов посвятит ушедшему времени лишь несколько стихотворений. Он сам – такой, какой он есть, – оставался памятью той эпохи, был человеком-легендой. Конечно, очень хороша его «Песня старого гусара». Но только однажды в давыдовской поэзии с полной силой прозвучит память восторга прошедших дней. И прозвучит безнадежно, горестно.

В элегии 1829 года «Бородинское поле» мы слышим голос человека, поверженного житейскими невзгодами, оскорбленного сильными мира сего. Что и говорить, прямой, порыв-

вистый Давыдов умел наживать себе врагов, да и его всенародная слава многим не давала покоя! И вот «счастливы горделивы» торжествуют: пришло их время. На Бородинском поле, родном поле Давыдова, давно отгремела священная битва, умолкли голоса вдохновенных полководцев. И сам поэт с его готовностью еще послужить России, кажется, теперь стал никому не нужен. Последняя строка элегии содержит печальное признание: «Завидую костям соратника иль друга».

Мысль о завидной смерти в бою была привычной для поэзии и публицистики времен Отечественной войны с Наполеоном. Но здесь у Давыдова она полностью лишена условности, риторического пафоса. Это самая прямая естественная мысль, высказанная человеком, вспоминающим кровавую эпоху как выпавшее ему великое счастье. И наверное, не один Давыдов по прошествии многих лет завидовал в тяжелую минуту тем, кто сложил свою голову в священной, спасительной борьбе.

А между тем русский восторг 1812 года не открыл в мире, в человеке ничего нового: он только широко распахнул глаза людям того времени, заставил их увидеть то, что есть, что было и будет всегда, помог сделать самый решительный выбор в пользу добра и света – и жертвенно этот выбор засвидетельствовать.

Прославляя народную победу над Наполеоном, юный лицеист Пушкин говорил: «Страдать – есть смертного удел». Наступившее мирное время не могло избавить человека от его неизбежной участи на земле. Может быть, конечно, мера отпущенных ему страданий стала теперь не столь очевидной, вопиющей. Впрочем, кто сочтет слезы, пролитые для нас незримо?

Но в этих неизбежных тяготах бытия продолжала сбываться высшая правда о человеке. 1812 год лишь особенно мощно, грозно напомнил нашим соотечественникам единственный тесный путь торжества над грехом и скверной, освобождения в себе Образа Божия. А купленный кровью мир сохранил за ними свободу идти по следам отцов и дедов этим спасительным путем. И вопреки всем искушениям, омываемые искупительными скорбями, как еще совсем недавно – пожаром Москвы, чистые радости человеческой жизни ярко осветили собой новые мирные дни. В Русской земле пребывала веками неотделимая от ее скорбной судьбы нетленная таинственная радость. Ею расцветали все стороны национального мира.

Отечественная словесность от самых своих истоков была причастна этой духовной радости: говоря о земном, она всегда стремилась к Небесному. Великая война с Наполеоном, как никогда полно в новое время, соединила писателей с народной судьбой, подарила каждому из них глубочайшее переживание и ясное созерцание нравственных законов мира, сделала их участниками торжества истины, светло и чисто разожгла в русской литературе никогда в ней не затухавший пророческий огонь.

Высший взлет поэтического творчества, который наступил в России вслед за победой над Наполеоном, – явление чудесное. И, как всякое чудо, его нельзя объяснить до конца. Но 1812 год, несомненно, – одно из главных начал русской классической литературы XIX века. Он не только ее постоянная звучная тема. Через него пропущены, в нем закалены, укреплены, поверены самой строгой мерой ее дух, ее нравственная отзывчивость, ее вселенская любовь. Во многом отсюда рождаются ее небывалая словесная мощь, совершенная красота, последняя точность определений, соразмерные той вечной правде, которую она несет в себе, тем высоким задачам, которые она перед собой ставит.

Поэты – ветераны 1812 года не могли не тосковать о восторге минувших дней, но и в другую эпоху с ее новыми испытаниями этот восторг продолжался в них самих, в жизни и творчестве их младших современников. Им дышали произведения, по видимости никак не связанные с минувшей победой и все-таки в таинственных глубинах национальной жизни слитые с ней неразделимо: и пушкинское «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», и тютчевское «Как весел грохот летних бурь...», и «Признание» Баратынского, и многое, многое

другое... Ведь тогда на Бородинском поле, в огне московского пожара русские люди отстояли весь Божий мир, всю полноту любящего человеческого сердца. И конечно, без потрясений той войны не могла бы увидеть свет такой, какой мы ее знаем, известная в России каждому картина Полтавского боя 1709 года из поэмы Пушкина «Полтава»...

Но бывало и так, что восторг вчерашнего дня прямо соединялся с душевным воспламенением дня сегодняшнего, становился действенной силой в новой борьбе.

Два стихотворения Пушкина – «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» – написаны в 1831 году. Оба они стали вершинами русской патриотической поэзии. Поводом для их создания оказалось событие, которое в нашей стране мало кто сегодня помнит, – восстание в той части Польши со столицей в Варшаве, что находилась больше ста лет под властью Российской империи. Пушкин вспоминает здесь длившееся веками противоборство двух славянских народов, размышляет о судьбах славянства, ликует по поводу русской победы над восставшими. Но в его полновзвучных, вдохновенных стихах нет места поруганию польской нации, хотя поэт прекрасно помнит кровавые обиды, нанесенные поляками в пору их могущества русскому народу. То и другое стихотворение направлены в первую очередь против «клеветников России» – духовных наследников наполеоновской Франции.

Польский бунт 1830–1831 годов впервые после Отечественной войны с Бонапартом вызвал в России большое военное воодушевление. Конечно, угроза была несопоставимой с 1812 годом, но давно поверженные силы, казалось, приступили к реваншу. Освободительное восстание в Польше вспыхнуло на одной волне с новыми революционными событиями во Франции. Русские так и воспринимали мятежную Польшу – как очаг европейского пожара на собственной земле. И разве можно было забыть, как поляки еще совсем недавно с энтузиазмом вступали в «великую армию» Наполеона, как они целыми дивизиями воевали на стороне французов при Бородине и торжественно входили в Москву! В том, что они не ошибаются, наших соотечественников убеждали бешеная злоба, потоки клеветы, пролившиеся на Россию в европейских газетах с началом умирения Польши.

Обращение Пушкина к европейским ораторам и памфлетистам – «народным витиям» – гневное и насмешливое. Для поэта не секрет их замысел использовать совершенно им безразличную «семейную вражду» русских и поляков, чтобы начать новое переустройство мира. И тут сильнейшим аргументом становится память 1812 года. Победа, завоеванная отцами, искупительная жертва России, понесенная во имя освобождения Европы, и по прошествии лет оказываются драгоценным наследством, грозным оружием, продолжающим оберегать страну. Достаточно привести на память «клеветникам» «не чуждые им гробы» в полях России.

Первая Отечественная война русского народа в пушкинских стихах о Польском бунте не только славное историческое прошлое. Это в полном смысле источник вдохновения. Именно в 1812 году чудесным образом достигло неколебимой крепости современное поэту русское царство. И там же, в купели священной войны, Россия обрела свой поэтический голос, способный теперь во всех оттенках мысли и чувства выразить державное богатство, силу, правоту невиданно окрепшего национального мира. И сама русская поэзия получила отныне право говорить с «клеветниками» как власть имущая:

Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Пёрми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,

Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?..

Ответ на эти риторические вопросы знали тогда все – и в России, и в Европе.

Увы, не каждому поколению в русской истории было дано произносить восторженные строки Пушкина, не испытав чувства вины перед отцами! Но могучие или слабые, пока жива Россия – мы снова и снова обретаем в них отеческую силу, народное достоинство.

Однако в нашей поэзии должно было рано или поздно явиться и такое великое произведение, где народное чувство 1812 года заговорило бы словно из глубины, из самой русской почвы. И есть своя закономерность в том, что написал его поэт уже послевоенного поколения. Память Отечественной войны предстала в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино» как вошедшая в плоть и кровь России, вечно переживаемая в настоящем. Иногда кажется, что и русская поэзия должна была пройти немалый путь, прежде чем научиться вот так рассказывать о прошлом.

1837 год, когда появилось «Бородино», – особенный в жизни Лермонтова. Тогда погиб Пушкин, и потрясенный Лермонтов оплакал эту всенародную утрату в поразившем читающую Россию стихотворении «Смерть Поэта». В этом горестном году страна отмечала двадцать пятую годовщину победы в Отечественной войне с Бонапартом.

«Бородино» – стихотворение историческое. Но в нем не найти ничего, чего не знал бы в России того времени, не знает и сегодня любой мало-мальски образованный человек. Больше того, многие широко известные подробности, знаменитые участники Бородинского сражения здесь не упомянуты. Нам не встретятся даже имена Кутузова и Наполеона. И тем не менее лермонтовское «Бородино» по-своему достовернее, правдивее любой самой подробной истории. В нем – история чувства, сердечного воспламенения. Великий жертвенный день показан у Лермонтова словно опрокинутым в душевный мир участника событий, да еще какого участника!

Стихотворение написано как рассказ о Бородинской битве старого солдата. Здесь впервые в нашей литературе поэтическим языком о великом событии национальной истории заговорил во всеуслышание не генерал, не офицер – человек благородного сословия, а самый обыкновенный солдат.

И выяснилось вдруг, что правда о 1812 годе, которую знает простой «дядя», бывалый солдат-артиллерист, – самая полная, чистая, несомненная. Высказанная в сильных, часто простонародных выражениях, она вместила в себя то, что испытал в России каждый – от мужика до генерала. Некоторые из таких оборотов стали неотделимы от живой народной памяти о той войне. Кто из нас не знает, к примеру, вот эти слова:

Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

Никогда еще в русской поэзии не было такого человеческого, берущего за душу изображения войны (и не только войны 1812 года). Способность рисовать человеческие переживания «изнутри» у Лермонтова просто изумительная! И мы, заражаясь чувствами старого солдата, переживаем вместе с ним все, что происходит на кровавом поле так, как будто это происходит с нами. И мы испытываем этот жар всенародного сопротивления, это сотрясение земли и солдатской груди, из которой рвется любящее Родину-мать, ожесточенное на всех ее врагов живое сердце. И мы готовы повторять лермонтовские строки:

Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою!

Дарование Лермонтова – волшебное, непостижимое. Для нас великая тайна, как сумел европейски образованный юноша, молодой барин настолько правдиво представить себе этого «дядю», проникнуть в душу своего народа!

Но есть в лермонтовском «Бородино» одна тема, которая звучит тревожно и словно не относится к великому прошлому России. Она появляется дважды: в начале и в конце стихотворения:

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!

В этих словах – не только старческое ворчание бывалого солдата. Точно так же и поэту казалось, что в людях его поколения уже нет героической прямооты и душевного величия героев 1812 года. Об этом он тоже написал немало горьких слов, в том числе исповедальных.

«Бородино» – одно из самых просветленных созданий Лермонтова, как «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», стихотворения «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ветка Палестины», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). И немного найдется равных ему творцов, столь же чутко прозревающих Небесное на земле. Но вечная борьба света и тьмы – суть и смысл Бородинского сражения, Отечественной войны 1812 года, – с единственной в русской литературе силой прошла через сердце великого поэта. Часто в его стихах и прозе – тоже необыкновенно мощно – выплескивает себя опустошенная гордая тоскующая душа. В ней угасают нравственные законы, ей не светит больше нравственное утешение. И совершенно естественно она ищет своего кумира в Наполеоне. Лермонтов написал «Бородино», и он же в год своей гибели, 1841-й, пишет стихотворение «Последнее новоселье», посвященное перенесению праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. В этих стихах затронуты сложные современные проблемы. Но прежде всего в них прославляется высоко стоящий над толпой «великий человек».

Это не была только поэтическая прихоть Лермонтова, в очередной раз заглянувшего в пропасть. Поэт болезненно-чутко улавливал то, что носилось в воздухе. Наполеоновское своевольное начало снова тысячами путей покушалось на русский мир, но теперь уже как духовный, внутренний подлог, готовый оторвать сыновей России от ее созидательных ключей. В декабре 1825 года русские революционеры-дворяне подняли восстание против самодержавия, но были разгромлены. Среди них находились многие участники боев с Наполеоном. Сами они в большинстве своем, а также их будущие почитатели верили, что, изменив царю, они по-прежнему служили высоким идеалам Отечественной войны. Едва ли это было так на самом деле. Скорее, наоборот, вольно или невольно декабристы, вчерашние победители Наполеона, продолжили его дело, встали под знамена мировой тьмы. Человеческое своеволие, безрассудство, увы, не в последний раз готовились потрясти Россию...

Наполеоновская тема оказалась одной из самых живых, постоянных и в русской литературе XIX века. Романтическая поэзия с ее интересом ко всему необычному невольно обращалась порой к титанической фигуре поверженного владыки. Два прекрасных перевода из австрийского поэта Цедлица (Зейдлица), «Ночной смотр» Жуковского и «Воздушный корабль» Лермонтова, один – отстраненно-холодно, другой – с большим сочувствием пере-

несли в русскую литературу образ встающего по ночам из могилы призрака в треугольной шляпе.

И все же слова Карамзина: «Сей изверг, миру в казнь рожденный», – другие, не менее сильные оценки «маленького корсиканца», звучавшие как последняя истина в эпоху 1812 года, не утратили своего значения и для будущих поэтов. Лермонтовское «Последнее новоселье» оказалось на долгое время явлением по-своему единственным.

Исключительно точны и многообразны определения Наполеона и наполеоновской идеи, в разные годы данные Пушкиным. В 1821 году появилась написанная на смерть развенчанного императора пушкинская ода «Наполеон»: всеохватная, представляющая в сжатых образах-формулах целую эпоху. Здесь поэт попытался примирить ясную мысль о злодеяниях Наполеона и понятие о его всемирном величии. Он воздавал хвалу «великому человеку», который послужил орудием неземного промысла – своим безнравственным покушением указал русскому народу «высокий жребий». Но это был очевидный выход за пределы добра и зла, который не мог вполне успокоить нравственно чуткий гений Пушкина.

Народная память навсегда сохранила другие слова поэта – о «нетерпеливом герое», напрасно ожидающем

Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля...

Эти слова в лирическом отступлении из седьмой главы романа «Евгений Онегин» внутренне связаны со всем строем произведения. Одаренная «сердечной полнотой», дорогая Пушкину Татьяна Ларина впервые встречается тут с Москвой – городом и началом всех начал для русского сердца. Именно в этой главе Татьяне уже открылся истинный облик Онегина – «модного тирана». В этой главе решится ее судьба. И хотя в будущем ей предстоят новые встречи с Онегиным – пораженный нравственным недугом, опустошенный герой уже бессилен перед верной своему долгу обреченной на страдания Татьяной, перед высокой жертвенной радостью русского мира, как бессилен Наполеон перед обреченной пожару Москвой. Безжизненное вселенское начало, завладевшее Онегиным, и на этот раз терпит, не может не потерпеть поражение.

Тема наполеоновского самовластья и вечного торжества над ним правды и света выросла в русской литературе в тему широкую, эпическую... С приближением новых уготованных стране испытаний начиналось время Тургенева и Льва Толстого, Лескова и Достоевского. Наследницей поэтического восторга 1812 года, то угасавшего, то горевшего вновь светло и чисто, становилась великая русская проза.

Александр Гулин

Гавриил Романович Державин 1743–1816



Гимн лироэпический на прогнание французов из Отечества

Что ж в сердце чувствую тоску
И грусть в душе моей смертельну?
Разрушенну и обагренну,
Под пеплом в дыме зрю Москву.
О страх! о скорбь! Но свет с эмпиреа
Объял мой дух, – отблещет лира;
Восторг пленит, живет, бодрит
И тлен земной забыть велит.
«Пой! – мир гласит мне горный, дольный. —
И оправдай судьбы Господни».

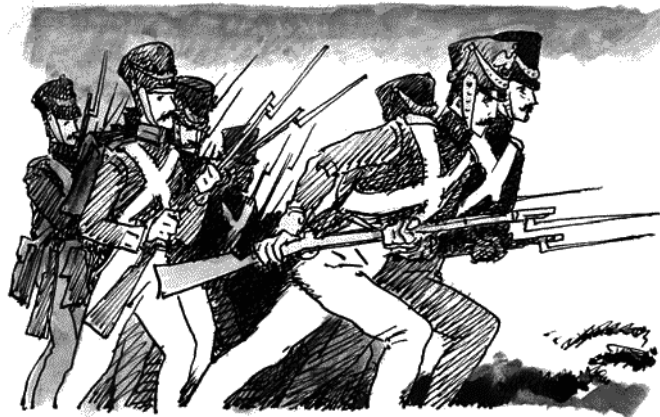
Открылась тайн священных дверь!
Ишел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змеевидны;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,

Рогами солнце прут;
Отенетая вкруг всю ошибками сферу,
Горящу в воздух прыщут серу,
Холмят дыханьем понт,
Льют ночь на горизонт
И движут ось всея вселенны.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они ревут, свистят и всех страшат;
А только агнец белорунный,
Смиранный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, —
Исчез змей-исполин!

Что се? Стихийе ли борьба?
Брань с светом тьмы? добра со злобой?
Иль так рожденные утробой
Коварств крамола, лесть, татьба
В ад сверглись громом с князем бездны,
Которым трепетал свод звездный,
Лишались солнца их лучей?
От пламенных его очей
Багрели горы, рдело море,
И след его был плач, стон, горе!..

И Бог сорвал с него свой луч:
Тогда средь бурных, мрачных туч
Неистойвой своей гордыни,
И дома благостыни
Смердя своими надписями,
А алтари коньми
Он поругал. Тут все в нем чувства закричали,
Огнями надписи вспылали,
Иsslали храмы стон —
И обезумел он.
Сим предузнав свое он горе,
Что царство пройдет его вскоре,
Не мог уже в Москве своих снести зол,
Решился убежать, зажег, ушел;
Вторым став Навходоносором,
Кровавы угли вкруг бросая взором,
Лил пену с челюстей, как вепрь,
И ринулся в мрак дебрь.
Но, Муза! тайнственный глагол
Оставь, — и возгреми трубою,
Как твердой грудью и душою
Росс, ополчась, на галла шел;
Как Запад с Севером сражался,
И гром о громах ударялся,

И молнии с молниями секлись,
И небо и земля тряслись
На Бородинском поле страшном,
На Малоярославском, Красном.



Там штык с штыком, рой с роем пуль,
Ядро с ядром и бомба с бомбой,
Жужжа, свища, сшибались с злобой,
И меч, о меч звуча, слал гул;
Там всадники, как вихри бурны,
Темнили пылью свод лазурный;
Там бледна смерть с косой в руках,
Скрежещуца, в единый мах
Полки, как класы, посекала
И трупы по полям бросала...

Какая честь из рода в род
России, слава незабвенна,
Что ей избавлена вселенна
От новых Тамерлана орд!
Цари Европы и народы!
Как бурны вы стремились воды,
Чтоб поглотить край росса весь;
Но буйные! где сами днесь?
Почто вы спяща льва будили,
Чтобы узнал свои он силы?

Почто вмешались в сонм вы злых
И, с нами разорвав союзы,
Грабителям поверглись в узы
И сами укрепили их?
Где царственны, народны правы?
Где, где германски честны нравы?
Друзья мы были вам всегда,
За вас сражались иногда;

Но вы, забыв и клятвы святы,
Ползли грызть тайно наши пяты.

О новый Вавилон, Париж!
О град мятежничьих жилищ,
Где бога нет, кроме злата,
Соблазнов и разврата;
Где самолюбью на алтарь
Всё, всё приносят в дар!
Быв чуждых царств не сыт, ты шел с Наполеоном,
Неизмеримым небосклоном
России повратить,
Полсвета огорстить.
Хоть прелестей твоих уставы
Давно уж чли венцом мы славы;
Но, не довольствуясь слепить умом,
Ты мнил попрасть нас и мечом,
Забыв, что северные силы
Всегда на Запад ужас наносили...

О росс! о добльственный народ,
Единственный, великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью своих доброт!
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый,
По сердцу прост, по чувству добр,
Ты в счастье тих, в несчастье бодр,
Царю радушен, благороден,
В терпении лишь себе подобен.

Красуйся ж и ликуй, герой,
Что в нынешнем ты страшном бедстве
В себе и всем твоём наследстве
Дал свету дух твой знать прямой!
Лобзайте, родши, чад, их — чада,
Что в вас Отечеству ограда
Была взаимна от врагов;
Целуйте, девы, женихов,
Мужей супруги, сестры братьев,
Что был всяк тверд среди несчастья.

И вы, Гесперья, Альбион,
Внемлите: пал Наполеон!
Без нас вы рано или поздно,
Но понесли бы грозно,
Как все несут, его ярмо, —
Уж близилось оно;
Но мы, как холмы, быв внутри жуплом наполненны,

На нас налегший облак черный
Сдержав на раменах,
Огнь дхнули, – пал он в прах.
С гиганта ребр в Версальи трески,
А с наших рук вам слышны плески:
То в общем, славном торжестве таком
Не должны ли и общих хвал венцом
Мы чтить героев превосходных,
Душою россов твердых, благородных?
О, как мне мил их взор, их слух!
Пленен мой ими дух!

И се, как въяве, вижу сон,
Ношуся вне пределов мира,
Где в голубых полях эфира
Витают вождей русских сонм.
Меж ими там в беседе райской
Рымни́нский, Таврский, Задунайский
Между собою говорят:
«О, как венец светлей стократ,
Что дан не царств за расширение,
А за Отечества спасенье!

Мамай, Желковский, Карл путь свят
К бессмертью подали прямому
Петру, Пожарскому, Донскому;
Кутузову днесь – Бонапарт.
Доколь Москва, Непрядва и Полтава
Течь будут, их не умрет слава.
Как воин, что в бою не пал,
Еще хвал вечных не стяжал;
Так громок стран пусть покоритель,
Но лишь велик их свят спаситель».

По правде вечности лучей
Достойны войны наших дней.
Смоленский князь, вождь дальновидный,
Не зря на толк обидный,
Великий ум в себе являл,
Без крови поражал
И в бранной хитрости противника, без лести,
Превысил Фабия он в чести.
Витгенштейн легче бить
Умел, чем отходить
Средь самых пылких, бранных споров,
Быв смел, как лев, быстр, как Суворов.
Вождь не предзримый, гром, как с облаков,
Слетал на вражий стан, на тыл – Плато́в.
Но как исчислить всех героев,

Живых и падших с славою средь боёв?
Почтим Багратионов прах —
Он жив у нас в сердцах!

Се бранных подвигов венец!
И разность меж Багратионом
По смерти в чем с Наполеоном?
Не в чувстве ль праведных сердец?
Для них не больше ль знаменитый
Слезой, чем клятвами покрытый?
Так! мерил мерой кто какой,
И сам возмерен будет той.
Нам правда Божия явила,
Какая галлов казнь постигла.

О полный чудесами век!
О мира колесо превратно!
Давно ль страшилище ужасно
На нас со всей Европой тек!
Но где днесь добычи богаты?
Где мудрые вожди, тристаты?
Где гений, блещущий в лучах?
Не здесь ли им урок в ученье,
Чтоб царств не льститься на хищенье?

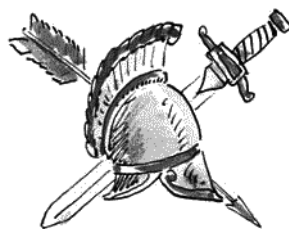
О, так! блаженство смертных в том,
Чтоб действовать всегда во всем
Лишь с справедливостью согласно,
Так мыслить беспристрастно,
Что мы чего себе хотим,
Того желать другим...

Отца Отечества несметны попеченья
Скорбей прогонят наших тени;
Художеств сонм, наук,
Торгов, лир громких звук.
Все возвратятся в их жилищи;
Свое и чуждо племя пищи
Придут, как под смоковницей, искать
И словом: быв градов всех русских мать,
Москва по-прежнему восстанет
Из пепла, зданьем велелепным станет,
Как феникс, снова процветать,
Венцом средь звезд блистать.

...И из страны Российской всей
Печаль и скорби изженутся,
В ней токи крови не прольются,
Не канут слезы из очей;

От солнца пахарь не сожжется,
От мраза бедный не согнется;
Сады и нивы плод дадут,
Моря чрез горы длань прострут,
Ключи с ключами сожурчатся,
По рощам песни огласятся.

Но солнце! мой вечерний луч!
Уже за холмы синих туч
Спускаешься ты в темны бездны,
Твой тускнет блеск любезный
Среди лиловых мгlistых зарь,
И мой уж гаснет жар;
Холодна старость – дух, у лиры – глас отъемлет,
Екатерины Муза дремлет:
То юного царя
Днесь вслед орлов паря,
Предшествующих благ виденья,
Что мною в день его рожденья
Предречено, достойно петь
Я не могу; младым певцам греметь
Мои вверяю ветхи струны...



1812–1813

Ода на смерть фельдмаршала князя Смоленского



апреля в 16-й день 1813 года

Отколе пал внезапно гром
И молния покрылась паром?
Грохочет всюду гул кругом!
Каким гордится смерть ударом,
Что дрогнула твоя коса?

Давно ль, давно ль, страна преславна,
В блаженстве царствовала ты!
Где ж красота твоя державна?
Не тот и взор, не те черты!
Отколь там грусть, где дух великий?

Военный гений твой в слезах.
В густом тумане ратна сила,
Всеобща скорбь слышна в речах,
По лаврам ты идешь уныло!
Где сын твой, где бессмертный вождь?..

Откликнись, вождь наш несравненный!
Осиротел твой меч в ножнах!
На твой лежащий шлем священный
Уже валятся ржа и прах!
Не спишь ли ты в сияньи славы?..

Проснись... Но что?.. Желанья тщетны!
Молчит весь мир на голос мой!
Ссеченный дуб наш коротколетний
Не тмит уже лучей собой,
И шум вокруг лишь в листьях мертвых.

Вот гения блестящий век!
Где ум? где дух? где блеск и сила?
И что такое человек,
Когда вся цель его – могила,
А сущность – горсть одна земли!

И свет и прах он здесь мгновенно,
Но скрытый сей небесный гром
Единым мигом в жизни тленной
Быть может вечности лучом.
О призрак света непостижный!..

1813

Князь Кутузов-Смоленской

Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Языки одолел сгущённые,
Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы предвечны
Ум дали – троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Усилить Александров меч;
Злодеев истребить враждебных,
Обрести бессмертный лавр побед,
В вратах Европы растворённых
Смыть кровью злобы дерзкий след;
Москву освободить погранну,
Отечество спасти от зол,
Лезть дале путь пресечь тирану,
Един основывать престол, —
Не умолчит потомств глагол!
Се мать твою, Россия, – зри, —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!



<1813(?)>

Василий Васильевич Капнист 1758–1823



Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28-го дня

Как грохот грома удаленна,
Несется горестна молва:
«Среди развалин погребенна,
Покрылась пепелом Москва!
Дымятся теремы, святыни;
До облак взорваны твердыни,
Ниспадши горами, лежат,
И кровью обагрились реки.
Погиб, увы! погиб навеки
Первопрестольный россос град!»
Уже под низменный мой кров уединённый
Домчался сей плачевный слух.
Он поразил меня, как в сердце нож вонзённый
И ужасом потряс мой дух.
Застыла кровь; чело подернул пот холодный.
Как древоточный червь голодный,

Неутолима скорбь проникла томну грудь.
Унынье душу омрачило,
На перси жернов навалило
И пересекло вздохам путь.

С поры той, с той поры злосчастной
Повсюду горесть лишь мне спутницей была
И пред очами ежечасно
Картину бедств, и слез, и ужасов несла.
Постылы дня лучи мне стали.
Везде разящие предметы зря печали,
От света отвращал я зрак.
Делящих скорбь друзей, детей, жены чуждаясь,
Как вран ночный в лесах скитаясь,
Душевный в них сугубил мрак.
В едину ночь, когда свирепо ветр ревуший
Клонил над мной высокий лес
И вихрь, ряд черных туч от севера несущий,
Обвесил мраком свод небес,
На берег Псла, волной ярящейся подмытый,
Под явор, мхом седым покрытый,
Тоскою утомлен, возлег я отдохнуть;
Тут в горести едва забылся,
Внезапу легкий сон спустился
И вежды мне спешил сомкнуть.
Мечты предстали вдруг: казалось, среди ночи
Сидел я на краю огнем пожранной рощи;
Вблизи развалины пустого града зрел:
Там храма пышного разбитый свод горел,
Под пеплом тлелись огромные чертоги.
Тут стен отломками завалены дороги.
Медяны башен там, сваясь, верхи лежат
И кровы к облакам вносящихся палат.
Падающих зданий тут зубчаты видны стены;
Здесь теремы к земле поникли, разгромленны,
Могила жупеля и пепла кажут там
Обитель иноков и их смиренный храм.
Нагие горны здесь до облаков касались,
Как сонм недвижимых гигантов представлялись,
Которых опалил молниеносный гром.
На остовы их там слякался гордый дом.
Тут кровля на шалаш низрынулась железна.



Хранилища, куда промышленность полезна,
Любостяжания дочь, а трудолюбья мать,
Избытки дальних стран обыкла собирать,
Стоят опалые, отверсты, опустелы.
Голодные гложут псы здесь кости обгорелы;
На части бледный труп терзают там; а тут
Запекшуюся кровь на алтарях грызут.
Из окон, из дверей луч света не мелькает;
Под пеплом вспыхнув, огонь мгновенно потухает.
Над зданием тлеющим куряся, только дым
Окрестность заражал зловонием своим.
И кучи сих костров, развалин сих громада
Гробницу пышного лишь представляли града.
Не слышался нигде народный вопль, ни клик;
Лишь вой привратных псов и хищных вранов крик
В сей мертвой юдоли молчанье прерывали
И слабый жизни в ней остаток возвещали.
Толь страшным, горестным позорищем смущен,
Я сам сидел, как мертв, недвижим, изумлен.
Власы от ужаса на голове вздымались,
И вздохи тяжкие в груди моей спирались.
Безмолвну тишину потряс вдруг громкий треск,
И яркий озарил мои зеницы блеск.
Престрашен, с трепетом к нему я обратился;
И зрю: чертога кров до облак возносился:
Как вихрь из адского исторгся пламень дна;
И развалившаяся граненая стена
Открыла кремленски соборы златоглавы,
Столь памятные мне в дни торжества и славы!

О, какая горесть грудь мою пронзила,
Как узнал я древнюю русскую столицу,
Что главу над всеми царствами вносила

И, простря со скиптром мощную десницу,
Жребий стран решала сильных, отдаленных!
Как ее узнал я, предо мной лежащу,
На громаде пепла, среди сел возжженных,
Горесть ту несносна, сердце мне разящу,
Смертному неможно выразить словами!
Бледен, бездыханен, я упал на землю.
Слезы полилися быстрыми ручьями;
В исступленье руки к Небесам подъемлю
И, собрав остаток истощенной силы,
«Боже всемогущий! — возопил я гласно, —
Ах, почто не сшел я в мрак сырой могилы
Прежде сей минуты гибельной, злосчастной!
Где твоя пощада, Боже милосердый?
Где уставы правды, где любви залого?
Как возмог ты град сей, в чистой вере твердый,
Осудить жестоко жребий несть столь строгий?»

Едва в неистовстве упрек,
Хулу на промысл я изрек,
Гора под мною потряслася.
Гром грянул, молний луч сверкнул,
Завыла буря, пыль взвилася,
Внутри холмов раздался гул,
Подвигнулись корнями рощи,
Разверзлась хлябь передо мной, —
И се из недр земли сырой
Поднялся призрак бледный, тощий.
Покрыв высоки рамена,
Первосвященническа риза,
Богато преиспещрена
От верха бисером до низа,
В алмазах, в яхонтах горя,
На нем блистала, как заря,
Чело покрыто митрой было,
Брада струилася до чресл.
Потупя долу взор унылый,
На пастырский склоняся жезл,
Стоял сей призрак сановитый.
Печалью вид его покрытый,
На коем слезный ток блистал,
Глубокое души стра данье,
Упреки и негодование,
Смешенны с кротостью, казал.
Виденьем грозным пораженный,
Едва я очи мог сомкнуть,
Как мертвы, цепенели члены,
Трепещуща хладнела грудь,
Дыханье слабо в ней спирая,

Лежал я, страхом одержим.
Вдруг призрак, жезл ко мне склоняя,
Вещал так гласом гробовым:

«Продерзкий! Как ты смел хулу изречь на Бога?
Карающая нас его десница строга
Правдивые весы над миром держит сим
И гневом не тягчит безвинно нас своим.
Ты слёзны токи льешь над падшей сей столицей;
И я скорблю с тобой, увь! скорблю сторицей.
В другой я вижу раз столь строгий суд над ней:
Два века к вечности уж протекли с тех дней,
Как в пепле зрел ее, сарматами попанну;
И, чтоб у врачевать толь смертоносну рану,
Из бездны зол и бедств отечество изведь,
На жертву не жалел и жизни я принесть.
Исполнил долг любви. Но и тогда, как ныне,
Не столь о гибельной жалел ее судьбине,
Как горько сетовал и слезы лил о том,
Что праведным она наказана судом.
Дерзай; пред правдой дай ответ о современных:
Падение они сих алтарей священных
Оплакивают все и горестно скорбят,
Что оскверненными, пустыми днес их зрят;
Но часто ли они их сами посещали?
Не в сходбища ль кощунств дом Божий превращали,
Соблазн беседую, неверием скверня?
Служители его, обету изменя,
Не о спасенье душ – о мзде своей радели,
Порока в знатности изобличать не смели
И превратили, дав собой тому пример,
В злоподражание терпенье чуждых вер;
Молитва, праздник, пост – теперь уж всё химеры,
И, с внешности начав, зерно иссякло веры, —
На что ж безверному священны алтари?
Правдивый судия рек пламеню: «Пожри!»
И пламень их пожрал, – и, днес дымяся, храмы
Зловерию курят зловонны фимиамы.
Но обратим наш взор. – Тут пал чертог суда:
Оплачь его, – но в нем весы держала мзда;
Неправдою закон гнетился подавленный.
Как бледны жесткие повапленные стены,
Так челы зрелися бессовестных судей.
Там истина вопи, невинность слезы лей;
Не слышат и не зрят: заткнуты златом уши;
Взор ослеплен серебром. Растленны лихвой, души
Не могут истины вещанию внимать.
Там злу судья – злодей; возмездник татю – тать,
Крепило приговор ехидно ябед жало, —

И пламя мстительно вертеп неправд пожрало.
Над падшими ли здесь чертогами скорбишь?
Иль гнезд тлетворных в них роскоши не зришь?
В убогих хижинах похитя хлеб насущный,
Питала там она сластями жертвы тучны.
Вседневы пиршества, веселий хоровод
Сзывали к окнам их толпящийся народ,
В мраз лютый холодом и голодом томимый
И с наглостью от сих позорищ прочь гонимый.
Когда, на лоне нег лежа, Сарданал
В преизобилии богатства утопал
И, сладострастия испивши чашу полную,
На легкий пух склонясь, облекшись в мягку вóлну,
Под звуком нежных арф вкушал спокойный сон,
О старце, о вдове заботился ли он?
Хоть пенязь отдал ли, хоть лепту он едину,
Чтоб в скорби облегчить их строгую судьбину?
Призрел ли нищего? От трапезы крохой
Он поделился ли с голодной сиротой?
Нет, – в недоступном сем для бедного чертоге
Не помнил он об них и позабыл о Боге,
Который с тем ему вручил талант серебром,
Чтобы, деля его, умножил мзду – добром.
Но он на роскошь лишь менял дары богаты, —
И, в пепле падшие, их погребли палаты.
Зри в слабых сих чертах развратные сердца,
И справедливый чти над ними суд Творца.
Но в граде ль сем одном развраты коренились?
Нет, нет; во все концы России расселились;
И от источника пролившееся зло
Ручьями быстрыми повсюду потекло:
Как в сердце остроты недужные скопленны
Влияньем пагубным все заражают члены.
Повсюду и порок, и слабости равны;
И души и умы равно отравлены.
Заботы, доблести и предков строги нравы:
Алканье истинной отечественной славы,
Похвальны образцы наследственных доброт —
В презрение, в посмех уж ставит поздний род.
Мудрейший меж царей, потомок Филарета,
Сей выро́д из умов и удивленье света,
Невинно ввел меж вас толь пагубный разврат;
Целебный сок по нем преобразился в яд:
Российски просветить умы желая темны,
Переселял он к вам науки чужеземны,
Но слепо чтившие пути бессмертных дел,
Презрев разборчивость благоискусных пчел,
Широкие врата новізнам отворили
И чуждой роскошью все царство отравили.

Вельможи по ее злопагубным следам,
Смесься с языками, навькли их делам
И, язвой заразя тлетворною столицу,
Как мулы, впряглись под чужду колесницу,
На выи вздев свои прельщающий ярем, —
За то карает Бог Москву чужим бичом.
Но ободрись: Господь сей казнью укротился
И в гневе не в конец на вас ожесточился.
Восстань и отложи тебя объяввший страх,
Мой сын! Судьбу врагов читай на небесах».
Тогда, подняв меня он сильною рукою,
На ноги трепетны поставил пред собою.
Едва смущенный взор я к облакам возвел,
Внезапу дивное явление узрел:

Носимый облаком на юге,
В златом пернатом шишаке,
В чешуйной серебряной кольчуге,
С блистающим мечом в руке,
Мне некий витязь представлялся.
Свирепым вид его казался:
Ярчѐе молнии лучей
Сверкало пламя из очей.
Налегши тягостию тела
На черну тучу, он летел.
Пред ним вдруг буря заревела,
Сгущенный вихрем, снег белел.
Вдали его предупреждали
Два призрака: из них один
Как некий зрелся исполин,
Змей в руках его зияли,
Взор грозный наносил всем страх.
Другий же бледностью в чертах
Страдальца вид казал сляченна,
Болезнью, голодом изнуренна.
Они сокрылись в мрак густой:
Там слышались победны клики,
Сражающейся рати крики,
И томный раздавался вой.

«Ты зришь, — мне с кротостью вещало Привиденье, —
России торжество, врагов ее паденье.
То щит Отечества, его военный дух
Пожарский, ревностный сотрудник мой и друг,
Летит вслед извергов, оставивших столицу.
Он мстительну на них уже вознес десницу.
Пред ним свирепый мраз, страх бледный, тощий глад
На истребление враждебных сил спешат.
Уж в бегстве гибельном, их лютостью томимый

И гневом Божиим невидимо гонимый,
Неистовый гордец, забыв позор и стыд,
Окровавлённой им дорогой вспять бежит.
На каждом он шагу народну месть встречает;
Рать сильна, рать его толпами низлагает;
И кровью буйного упьётся русский меч:
От острия его не может он утечь.
Тогда в свою чреду сей мира нарушитель,
Сей бич вселенная, Москвы опустошитель,
Покажет царствам всем, простерт у наших ног,
Сколь в гнев праведном велик российский Бог;
Сколь истинен в судах над нами справедливых
Отец раскаянных, каратель злочестивых».
Так рек; и, пастырски надвершием жезла
Коснувшись моего претрашного чела,
Исчез. Внезапу гром по небу прокатился.
Объятый трепетом, от сна я пробудился
И Гермогена в сем видении познал:
Надеждой скорбному он сердцу отдых дал.
Утих бурливый ветер; луна над мной блистала,
В дрожащих Псла струях себя изображала.
Восхитилась мысль, и вспламенился дух.
Казалось, старца речь еще разила слух,
Еще по воздуху слова его носились.
Неволею тогда уста мои открылись,
Воображением я в будущем парил
И, в полноте души, с восторгом возопил:

«Дерзайте, россы! Гнет печали
С унылых свергните сердец:
Враги пред нами в бегстве пали,
Победы нам отдав венец.
Рассыпаны строптивых силы!
Воззрите на сии могилы,
Уставшие бегущих след;
На обгащённы кровью реки:
Над ними поздни узрят веки
Трофей наш, – мщенья и побед.
Неправды спеющих доро́гой
Творец наш гневом посетил;
Но бич, орудье казни строгой,
Над нашей выей сокрушил.
На суд ли Вышнего возропщем?
Никак; но в умиление общем
Благодаренье воздадим
За милосердную пощаду,
Что яростному не дал аду
Нас зевом поглотить своим.

Теперь, несчастьем научённые,
Отвергнем иноземный яд:
Да злы беседы отравлённые
Благих обычаев не тлят;
И, на стезю склоняся праву,
Лишь в доблести прямую славу,
Существенну поставим честь.
Престанем чуждым ослепленьям
Развратам и предубежденьям
Подобострастно дани несть.
Отечество ждет нашей дани.
Протоптаны врагом поля,
Прострём к убогой братье длани,
Избыток с нею наш деля;
Взнесем верхи церквей сожженных;
Да алтарей опустошенных
С весной не порастит трава;
Пожаров след да истребится,
И, аки феникс, возродится
Из пепла своего Москва!»



1812

Иван Михайлович Долгорукий 1764–1823



Плач над Москвою

В годину лютых зол, в день страшных бед,
Когда в огне Москва Везувий представляла,
Детей своих во все заставы извергала
И кровию граждан багрила их следы,
Когда чрез двести лет столицу вновь карали,
Сквернили алтари, в домах и казнь и плен,
Бежали без ума толпы мужей и жен
И весь домашний скарб злодею покидали, —
Взглянул и я на Кремль – ударил в перси, взвыл,
Схватя жену, детей, давно лиющих слезы,
В беспмятстве помчал на устье тихой Тезы;
И там от всяких зол Господь меня укрыл. <...>
Гнев Божий над тобой, злосчастная Москва!
Из пышных теремов явилось пепелище,
Пещерою стал град зияющего льва
И диких всех зверей ужасно логовище!
В прямой черте с небес громовая стрела

Ударила во все твои верхи златые,
И, с ревом из-под них слетев, колокола
Провозвестили нам дни нового Батыя;
Во храмах кони ржут, а в самых алтарях, —
О ужас христиан! и выговорить страшно! —
На месте мирных жертв – враги хватают брашно,
И, шумны от вина, ристают в стихарях!
Святыни дом в вертеп разбоя превратился!
Кадило пред Творцом небесным не курят,
Ни тихих нет молитв, ни лампы не горят,
И схимник, вздохнув, с обителью простился.
Летит на воздух Кремль, расшибся Арсенал;
Несыта месть везде мечи булатны движет!
Но все уже смердит! – нож всю Москву заклал;
Без пищи сам огонь лишь камень голый лижет.
Таков твой жребий стал, градов российских мать!
Тоскуют о тебе живущие в чертогах;
Нарядных колесниц тьмы-тьмушей на дорогах,
Стремящихся к тебе, как прежде, не видать.
Исчезли пиршества, и роскошь утомленна
С обозом векселей на Волгу утекла;
Толпа бежит за ней актеров изумленна,
Дом игрищей погас, сгоревши весь дотла;
Святилища наук разграбленные стены
Ужасней кажут нам плачевный вид Москвы;
И музы, не найдя, куда склонить главы,
Отправились искать на Каме Иппокрены.
Куда съезжаться нам платить газетам дань,
О свойстве государств, за трубкой сидя, спорить,
И ближних и себя напрасно лишь задорить —
Путь счастливый тебе, клоб Английский, в Казань! —
Фабричный кинул стан, купец не промышляет,
Разнощик никуда с товарами нейдет,
Изделья, торг, мена, все стало, все страдает,
И бедный мужичок ни пашет, ни орет.
О, день великих зол! Но, к пущему несчастью
У матушки-Москвы есть множество детей,
Которые твердят по новому пристрастью,
Что прах ее не есть беда России всей...
Утешит ли кого сия молва народна?
Отечества я сын, и здесь сказать дерзну:
Россия! ты раба, – когда Москва в плену!
Не ей ли ты должна той славою широкой,
Которую во всей вселенной нажила?
Не ею ли спаслась от пагубы жестокой,
Когда с мечами к ней Литва погана шла?
Москва ли не рачит о нас, не образует?
Готовит верных слуг, надежных сограждан,
Дает мужей в суды, людей в военный стан

И злата не щадит, коль царь его взыскует.
Отечественный дух на каждом там шагу
Любить родимый край издетства приучает.
Вид Красного крыльца, – сей вид один внушает
И рабства не терпеть, и рог сломить врагу.
Кому наружный вид готический противен,
Пускай бежит навек от наших башен тот!
Единственна Москва! – и тем-то град сей дивен,
Что он из собственных составил красот. <...>
Так ежели Москва есть сердце государства,
Отдав ее врагу, какая для него
Надежда избежать паденья своего?
Столицы суть везде ограды крепки царства.
Без сердца бытие кто может сохранить,
Когда в нем вдруг огонь антонов загорится?
Куда, кроме земли, наш бедный труп годится?
Стал маятник его – и уже полно жить.
О Боже! возврати столицу нам любезну! <...>
Так мысленно зывал, когда в стране любимой,
Оставя мирный кров и хлеб насущный мой,
Без Родины давно, из края в край гонимый,
Бежал сюда вкушать хоть маленький покой. <...>
Но, ах! – хотя у них приятно было мне,
А на сердце тоски лежало тяжело бремя:
Я все смотрел в окно, не разбирая время,
Не шлет ли вести кто о нашей стороне?
И се – летит она – о, радость вожденна!
В пыли, в поту ямщик бьет тройку по бедрам;
Домашние бегут – я вслед кричу: что там?
Предчувствие сбылось: Москва освобожденна!
Для чувства сильного на свете нет пера:
Уста молчат, когда что душу слишком тронет,
В потоке горьких слёз речь смешанная тонет,
И легкий вздох, вещун сердечного добра,
В Москву скорей, в Москву! – Когда чего желает
И требует от нас растроганна душа,
Вотще рассудок тут препятства полагает:
Распутица – путь добр, и вьюга – хороша. <...>
Так стаи разных птиц со всех сторон весною
Летят в привычный лес гнездо свое свивать.
Представилась очам паленая столица,
Еще сияющая сквозь облако дымов;
В развалинах ее еще видна царица,
Рожденная ничьих не принимать оков. <...>
Руины! кто на вас без состраданья взглянет?
Ужаснейший позор... Здесь был Наполеон!
Доколь из недр Творца перун в него не грянет?
Иль Неба не достиг отчаянный наш стон? <...>
Дай Бог, чтобы Москва, как некогда вселенна,

При Ное от проказ омытая водой,
В горниле тяжких бед огнями искушенна,
Очистилась от всех крамол своих золой!
Тогда нас паки с ней и пепел не разлучит:
Где Родины святой быть может веселей?
И я скажу в слезах, как Сказочник нас учит:
«Что матушки-Москвы и краше и милей?»

<1812–1813>

Николай Михайлович Карамзин 1766–1826



Освобождение Европы и слава Александра I

(Посвящаю московским жителям)

Quae homines arant, navigant, aedificant, virtuti omnia parent { Все,
что создают люди, когда пахут, плавают, строят, служат
добродетели (лат.). }.

Саллустий

.....
Низверглась адская держава:
Сражен, сражен Наполеон!
Народы и цари! ликуйте:
Воскрес порядок и Закон.
Свободу мира торжествуйте!
Есть правды бог: тирана нет!
Преходит тьма, но вечен свет.

Сокрылось ночи привиденье.
Се утро, жизни пробужденье!

Се глас Природы и Творца:
«Уставов я не пременяю:
Не будут ка́мнями сердца,
Безумства в ум не обращаю.
Злодей торжествовал, где он?
Исчез, как безобразный сон!»
Умолкло горести роптанье.
Минувших зол воспоминанье
Уже есть благо для сердец.
Из рук отчаянной Свободы
Прияв властительский венец
С обетом умирить народы
И воцарить с собой Закон,
Сын хитрой лжи, Наполеон,

Призрак величия, героя,
Под лаврами дух низкий кроя,
Воссел на трон – людей карать
И землю претворять в могилу,
Слезами, кровью утучнять,
В закон одну поставить силу,
Не славой – клятвою побед
Наполнить уstraшенный свет.

И бысть! Упали царства, троны.
Его ужасны легионы,
Как огонь и бурный дух, текли
Под громом смерти, разрушенья
Сквозь дым пылающей земли;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.